

*Есть заповедь: «Почитай родителей своих»,
а я говорю: «Почитай детей своих,
ибо они — наше будущее»*

Анна, замерев на месте, смотрела в одну точку и не слышала, как звонили в дверь. В общем-то эта привычка уходить так глубоко в свои размышления, чтобы не замечать ничего вокруг, досталась ей из детства. Анна часто думала о том, что было первым, курица или яйцо — то есть в какой последовательности в ее детском мире поселились вечное раздражение матери и вот эти временные отрезки, в которых она исчезала для внешнего мира.

— Анна, опять ты летаешь в облаках! Заняться больше нечем? Иди и уберись в своей комнате, как можно жить в таком беспорядке? Ну почему все дети как дети, одна ты не от мира сего. — Грузная фигура Фрэнсис нависала над маленькой Анной, заставляя ее почувствовать себя еще меньше — чем то совершенно незначительным, неважным. И этот взгляд. Взгляд суровой женщины, по-



нятия не имеющей о том, что в мире существует и нежность, и хрупкость.

В общем-то именно такой Анне и запомнилась ее мать. Всегда уставшая и всегда недовольная дочерью. Что бы Анна ни делала, все было не так: чай, приготовленный с любовью, каждый раз называли помоями, горячие румяные бутерброды — углями, первый сдобный кекс — плоским блином, распущенные волосы — жидкими, волосы, убранные в прическу — мышинным хвостом. Фрэнсис, верно, считала, что таким образом воспитывает в дочери стремление к совершенству. Однако будучи ребенком Анна искренне не понимала, почему бы ей не заварить чай себе самой именно так, как ей нравится, а не просить об этом каждый раз дочку, вырывая ее из мира игр в любой удобный для мамы момент. Почему не заняться собственной прической, которую в общественных местах Фрэнсис обычно стыдливо прятала под меховой шапкой; Анне всегда казалось странным, что мать, приходя в гости, снимает пальто, оставшись в одежде с коротким рукавом, но при этом с большой жаркой шапкой на голове. Наверное, мерзнет — такое оправдание выбирала Анна для матери. Но самое главное, Анна не понима-



ла, почему она должна убираться в своей комнате тогда, когда этого хочет мать. Ведь это же ее, Анны, комната! Вот же ее старый плюшевый мишка без одного глаза, ее любимая книга с раскрашенными чернилами страницами, ее деревянная кровать, машинка без колеса — ведь все это ее сокровища. Так почему мама решает, когда, как и куда Анне их убирать.

Приблизившись к подростковому возрасту с его сменами авторитетов и приоритетов, Анна отчетливо уяснила, что она какая-то не такая, какой положено быть мифическому «нормальному человеку», с которым мать постоянно ее сравнивала, и не в пользу Анны. Идеально убранная комната каждый раз оказывалась убранной недостаточно идеально, в чае, завариваемом теперь в новомодных пакетиках, то недоставало сахара, то он был слишком сладок. Длинные волосы необходимо было незамедлительно постричь под каре, а каре затем нужно было волшебным образом заплести в косу, чтобы «не свисало». В общем, что бы Анна ни делала, все оказывалось не тем, не так и не тогда.

Неудивительно, что в детстве девочка сбегала в свои мечты и размышления, замирая на месте и всматриваясь в одну точку



недвижимым взглядом. Как же это раздражало Фрэнсис! Ведь, по ее мнению, Анна в это время не делала ничего полезного, маялась дурью и вообще у нее была пустая голова. «Пустоголовая, — именно так чаще всего называла ее мать в такие моменты и каждый раз добавляла: Вся в своего отца!» — отца, которого Анна не видела никогда. Но внутри Анны в это время то оживали наполненные глубокой философией цветные миры, то решались сложные математические задачи, то абстракции физических формул, заложенные в несколько скудных символов, разворачивались во всю красоту происходящего в мире, недоступном остальным.

Анна не оправдывалась, не пыталась объяснить, что происходило с ней в такие моменты, да и что мог объяснить ребенок, который смотрит на себя глазами матери и оценивает себя ее словами. И верит. Каждому плохому слову. Как и каждому хорошему, которых Анна, увы, не слышала от матери почти никогда. Как может ребенок понять свои чувства, которые ему должен бы помогать осознавать и правильно проживать взрослый и самый важный в жизни человек? Взрослый... который сам так и не вырос... Поэтому Анна все больше молчала и все



больше уходила в себя. А мать все больше разочаровывалась в дочери, которую в своей идеальной картине мира видела жизнерадостной пухлой хохотушкой, собирающей комплименты всех знакомых и соседей. Видела такой, какой была ее первая дочь Бэтти, розовощекая веселая малышка, не дожившая двух месяцев до своего трехлетия.

* * *

Дурацкая прививка. И зачем ее муж послушался эту старую гримзу — врачу, которая настойчиво склоняла их к очередной прививке после того, как малышка Бэтти еле перенесла предыдущую. Страшная агония, удушливый отек, эти большие голубые глаза, полные ужаса, умоляюще смотрящие на мать, которая ничем не может помочь (отчего безумное отчаяние в ее душе дало роковой разлом по трещинам старых потерь). В тот раз Бэтти спасли, выходили. Мистер Беркинс, их давний семейный врач, работавший в детской больнице, однако по старой дружбе продолжавший приходить по необходимости теперь уже к ребенку своей совершенно особенной пациентки, вовремя предпринял все необходимое для того, чтобы малышка не впала в кому. Тот самый



мистер Беркинс, который спустя год рыдал на похоронах Бэтти, казалось, громче самих родителей, повторяя без конца: «Зачем? Зачем?»

Это «зачем» чернилами татуировочной машинки впечаталось в мозг Фрэнсис на всю оставшуюся жизнь. Ведь она же чувствовала, как всегда чувствует мать свое дитя, что не стоит испытывать судьбу, так благосклонно вернувшую ее дочь с того света. Но Скритчер, муж Фрэнсис, настаивал на том же, на чем и эта грымза, по совместительству подруга его обожаемой мамочки.

Мать всегда оставалась для Скритчера непререкаемым авторитетом; она все еще покупала ему одежду и бритвы, будто он не способен на это сам. Его мамочка, лучшая женщина в мире... ментально кастрировавшая своего сына, лишившая его возможности нести ответственность прежде всего за себя самого и, как следствие, за свою семью. Подгоняемый своей неугомонной матерью, сующей нос во все житейские дела молодых, Скритчер давил на Фрэнсис, убеждая, что произошедшее с Бэтти было всего лишь случайностью, нелепым стечением обстоятельств, что скорее всего какой-то скрытый вирус блуждал в это время по организму



маленькой Бэтти, он-то и спровоцировал такую реакцию на очередную прививку. Ведь, аргументировал он — опять же словами своей матери, — на предыдущие прививки не было таких реакций. Подумаешь, поднялась температура и отнималась ножка — это нормальная ожидаемая реакция. Так написано в инструкции к вакцине.

Мистер Беркинс, однако, раз за разом давал малышке Бэтти медицинский отвод. Он ничего не объяснял Фрэнсис, только дал понять, что не хочет лишиться своего места врача, а потому не может сказать ничего конкретного, только дать рекомендации больше не прививать. Но, сказал он, принимать решение должны родители, и только они.

Вскоре мистер Беркинс уехал на полгода в глухую сельскую местность, где в это время вспыхнула волна какого-то новомодного вируса: работавший там молодой врач, единственный на все поселение, уже не справляясь с ситуацией, написал ему письмо с мольбой о неотложной помощи. Мистер Беркинс выехал ночным поездом, оставив на всякий случай координаты своего знакомого врача, небезызвестного педиатра. Однако матушка ее мужа, прознавшая об этом от вечно докладывавшего ей все сына, решила,



что цена жизни Бэтти слишком завышена, ведь визиты такого хорошего педиатра стоили соответственно, и настаивала на весьма бюджетных услугах ее старой знакомой, той самой гримзы, с которой уже успела бесцеремонно обсудить все моменты не столь длинной, но такой же частной, как и у любого взрослого, жизни Бэтти, да еще без ведома Фрэнсис.

С того времени не проходило и недели, чтобы муж Фрэнсис, возвращаясь с воскресных обязательных встреч с хлебосольной мамочкой, собиравшей вокруг себя своих молодящихся подруг и обязательно приглашавшей любимого сыночка, не заводил разговора об обязанности отвести девочку к старой гримзе на вакцинацию. Будто у них не было других тем для их семейных посиделок, на которые, к слову, Фрэнсис так и не была ни разу приглашена, о чем в последнее время не особо и сожалела, хотя вначале была уязвлена таким к себе отношением. С каждым разом, приходя оттуда, Скритчер становился все настойчивей и безапелляционней. Главным аргументом его мамочки, а значит, и его аргументом, было: «что скажут люди». Фрэнсис как никогда ждала возвращения мистера Беркинса, потому что не зна-



ла, что ответить на откровенную глупость, и всегда терялась в такие моменты. Однако все время старалась перевести тему.

Она уже давно уяснила, что мужу, в общем-то, неинтересно ничего и никто вокруг, кроме его собственной персоны. Он всегда говорил о себе. И Фрэнсис заводила разговор о Скритчере, который с радостью начинал разглагольствовать насчет величия его планов на жизнь, параллельно не забывая перемыть косточки всем, кто хоть как-то пересекался с его деятельностью.

С годами Фрэнсис научилась слушать и не слышать. Иногда она смотрела на мужа, рассуждающего о жизни и людях примитивными мыслями своей мамочки, а перед глазами плыли воспоминания о ее первой любви. О безмятежности и счастье с юным Колином, о первом поцелуе, о первых неуверенных ласках, о нежных прикосновениях его теплых пальцев... А потом в один момент все закончилось. Он спешил к ней, как всегда безупречный и с букетом ее любимых фрезий. Так его и нашли — с алыми пятнами крови на белой выглаженной рубашке. Фрезии, лежавшие тут же, в луже крови, тоже выкрасились в алый. И бархатная коробочка из-под кольца рядом. Только кольца внутри



не было. Кольца, которое он выбирал с такой любовью у «Тиффани» тем утром, кольца, которое должно было украсить палец любимой Фрэнсис, кольца, из-за которого молодой наркоман, загибающийся от ломки, проследил за Колином от ювелирного и перерезал ему горло от уха до уха за дозу своего смертоносного кайфа...

Фрэнсис узнала обо всем только вечером. Она удивилась, что Колин, всегда такой ответственный, не появился в то утро на занятиях. Тем лучше, подумала Фрэнсис, ведь ей было что рассказать любимому. Последнюю неделю она чувствовала себя неважно: эти головокружения и легкая тошнота по утрам. Сначала она списывала все на стресс из-за предстоящих выпускных экзаменов, но когда случилась задержка в естественном цикле организма, всегда работавшем четко, как швейцарские часы, она наконец поняла причину всех этих симптомов. И обрадовалась. Ни тени беспокойства, неуверенности или страха. Она как будто знала, что так и должно быть, что это настолько естественно, что по-другому и быть не могло. Плод их любви надежно занял место в ее еще плоском животике. Вечером она собиралась



рассказать обо всем Колину. Она представляла его полные счастья глаза — и бабочки в ее животе танцевали танго.

Фрэнсис добавляла последние штрихи в свой образ, поправляя нежные соцветия любимой фрезии в локонах безупречной прически, когда раздался звонок в дверь. Она немного задержалась в комнате, нанося по капле аромат любимых духов, которые ей подарил Колин, на шею и запястья, а когда спустилась вниз, уверенная в том, что это любимый зашел за ней, чтобы пойти в кино, как они и планировали вчера, застала странную картину. Она никогда не забудет бледное лицо своей матери и растерянность на лице отца. А также человека в форме на пороге их дома. И эти слова. Ничего не значащие пустые слова формальности: «Приношу свои соболезнования». Страшная догадка мелькнула в ее голове и незамедлительно подтвердилась, когда она опустила глаза на заголовок газеты, которую ее отец держал в руках. Он гласил: «Молодой Колин Беркинс найден мертвым». Дальше все происходило будто в замедленной съемке какого-то немого кино...

Позже, когда заботы о новорожденной Бэтти вытеснили боль утраты самого дорогого, что было в ее такой еще короткой жизни,